



## РАДОСТЬ И БОЛЬ. ЧИТАЯ ЗОРИЯ БАЛАЯНА

### 1. «Свет твоим глазам»

Я задумался, каким красноречивым эпизодом из долгой литературной жизни Зория Балаяна стоит мне предварить эти заметки? Выбор весьма велик. Если бы речь шла о сколько-нибудь полном собрании его сочинений, многое подошло бы: и из времен «Камчатского комсомольца», и из эпохи «Литературной газеты», и из пронзительных карабахских «Каникулярных троп»... последние уже ближе к моей теме, ибо тема эта — *дорога*.

Если дорога пролегла на чужбине, то вызывает ностальгию по родине. Если на родине, то широка родина от края до края: враз не объедешь. А объехать хочется.

На чем?

Тут, конечно, приходит в голову незабываемое путешествие Балаяна на собаках и оленях по долинам и по взгорьям Камчатки и Чукотки.

Могло бы состояться и другое путешествие — плавание на папирусной лодке: Тур Хейердал, узнав о молодом советском землепроходце (который уже вдоволь поколесил по рекам и озерам Сибири, а также по прибрежным водам Тихого океана — в советских границах, естественно), — сказал, что готов предложить ему место врача.

Врач Балаян — всамделишный: спортивный, судовой, походный. К тому же с воинским опытом: призван в год смерти Сталина, демобилизован в год разоблачения «культы личности» — хороший обзор-обстрел для вызревающего журналиста и литератора.

И все же в пролог этих размышлений мне хочется поставить другое: спасение Севана — великого озера Армении, иссякавшего к концу 1970-х годов от варварского истощения ресурсов и возрожденного тогда притоком воды с Арпы через пробитый тоннель. О проблеме Севана Балаян написал десятки статей, выпустил книгу «Последний родник». Но не менее красноречив штрих сугубо личный: пройдя по строящемуся тоннелю пешком все 48 км 400 м, он искупался в ледяной воде реки Кечут в тот момент, когда строители повернули ее на спасение великого озера.

Русло реки — та же *дорога*.

Повесть, в которую я сейчас вчитываюсь, так и называется — кратко и емко: «Дорога».

Цель путешествия — встречи с армянами рассеяния, живущими в Северной Америке, точнее: в США и Канаде (что далеко не одно и то же по условиям адаптации).

Параметры путешествия: 128 американских и 12 канадских городов. Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Флорида, Бостон, Чикаго, Даллас, Новый Орлеан, Сан-Антонио, Хьюстон, Торонто... И дальше: из Монреаля — до Оттавы, до Квебека... 12 тысяч километров только автомобильных трасс... Две с половиной тысячи населенных пунктов. Сотни мостов. Пятнадцать радиостудий. Около ста действующих армянских храмов и церквей. Сорок газет, множество телестудий, около сорока школ, университетов. Тридцать тысяч студентов... Театральные труппы, ансамбли песни и танца, клубы для занятий спортом, кройкой, шитьем... Миллион армян и их потомков, живущих на чужбине.

Можно себе представить образ жизни путешественника, поставившего целью — охватить и освоить все это? Когда он должен вставать по утрам, когда и где ложиться и где держать все это время пишущую машинку?

А как *держат* в сознании все это время сложнейшую гамму взаимоотношений армян спюрка с тем маяком нации, который остается для них вечным прибежищем души: Советская Армения? Целый век она то светится из-за «железного занавеса», то принимает родных гостей, — и они охотно едут: отсалютовать Матенадарану и взглянуть на Арарат... гостят охотно, но жить насовсем — не остаются.

Отбывают на чужбину и... слушают благоговейно то, что рассказывает им прибывший с исторической родины путешественник.

Он рассказывает захватывающе. И вместе с тем — объективно. О том, что еще несколько лет назад в каменистой, безлесной, безводной Армении ежегодно вырубали до полумиллиона стройных деревьев, напоенных водой высыхающего Севана, чтобы ровно через неделю после Нового года выбросить их на свалку. И о том, как спасли Севан. О том, как в отдаленном от центра Мегринском районе, где нет ни клочка ровной земли, надо было построить аэродром; там же в Мегринском районе добывают медь и молибден, рядом с местом добычи возникают горы отходов.

*«Люди подумали: почему бы не наполнить отходами руды ущелье? И началась работа по строительству уникального аэродрома в мире. Миллионы кубометров камней и земли перетаскали по бездорожью... и вскоре изменился рельеф местности, созданный природой за миллиарды лет. ...Соорудили ровную площадку...*

*Построили аэродром, создали Академию наук, «сотворили миллионный город, нарисовали на живой карте республики шестнадцать искусственных морей, разбили бескрайние яблоневые сады, и вдруг — в магазинах нет яблок, а на базаре килограмм яблок в тридцать раз дороже, чем буханка хлеба... Это какое-то недоразумение»...*

Но ничего, после апрельского пленума ЦК КПСС грядут большие перемены...

Интересно, когда все это написано? Балаян нигде прямо не уточняет даты, но опытной рукой журналиста оставляет детали, по которым мы не без улыбки угадываем время действия. Очередной пленум ЦК можем и подзабыть, но диалог со студентами в Калифорнийском университете цепляет эпоху куда острее:

*«Читали ли вы книги Солженицына? Я их не читал. Однако, поскольку многие о них спрашивают... думаю все-таки достать и прочитать их...»*

Разумеется, в пору, когда Балаян готовит к изданию свою «Дорогу», он Солженицына уже достал и прочитал с должным вниманием, то есть спокойно может вправить студенту мозги и выправить текст повести. Однако не делает этого. Потому что правда момента дороже позднейшего итогового знания. Потому что сам момент для нас не менее интересен, чем решение Англии и Франции построить тоннель под Ла-Маншем (я подозреваю, что Балаян потому и запомнил это решение, что мысленно тотчас же прошелся по всему этому тоннелю).

Ну, а уж фраза *«Россия больше не пьет»* отсылает нас к событиям совершенно незабываемым на фоне объявленной «перестройки и гласности», и Балаян поминает их ради того, чтобы читатели знали ситуацию, в которой создавалась «Дорога».

Зачем расставлены эти метки, если мы и так все знаем?

Затем, чтобы показать движущееся время. Переворачивающееся время. Ничто не застывает по обочинам «Дороги», все обречено переменам, и нужно постоянное напряжение духа, чтобы в этом мелькании держать маршрут. Маршрут сюда, в наше время, — из такой древности, которая пахнет вечностью.

Вовсе не нынешние перемены главная боль и глубинная забота Зория Балаяна. Его боль саднит сквозь века, его заботы порождены событиями, которые нельзя ни забыть, ни вытерпеть, — окликают они нас из тысячелетней дали. Геноцид 1915 года — лишь самая известная из последних *ран Армении*, но резня висела в воздухе и за тридцать лет до того, и за триста, и за шестьсот. После кровавого 387 года Месроп Маштоц сотворил армянский алфавит, предчувствуя, что эти тридцать шесть букв помогут удержать от гибели армянские

души, когда тела будут гореть то в одном, то в другом вселенском пожаре.

Теперь, говоря о Ереване, армяне не без грустного юмора добавляют, что этот город — *двенадцатая* столица Армении... Сколько же стоняли народ с его древней земли и сколько гоняли на протяжении всей Мировой Истории... и какую запредельную память надо было выработать, чтобы выдержать такое! Чтобы держать в памяти всю страшную историю народа «со времен Урарту» и понимать, что жизнь в рассеянии, в скитании, в спюрке — *«наполнена смыслом только потому, что есть на свете возрожденная Советская Армения...»*

Но тогда вопрос: почему бы армянам, рассеянными по миру, не вернуться теперь в эту возрожденную родину и... не закрыть проблему?

Ответ: нельзя вернуться. Нельзя «закрыть проблему». Нельзя сделать бывшее небывшим. Если судьба обрушила на народ испытания, которые выбросили его из этнического гнезда в кровавую бесконечность Истории, — то уже нельзя перестать чувствовать себя участником мировой драмы, даже если где-то маячит «двенадцатая столица», чудом возрожденная из пепла этой Истории.

Армяне одновременно — народ, имеющий «свое место» на планете и имеющий в генной памяти такую роль по ходу *мировой драмы*, от которой невозможно освободиться. Ни в какое «место» эта страшная роль не влезет.

Сотни народов перемолоты в костоломке Истории, даже имен не осталось. Иным выпадало сомнительное счастье возвышаться до сверхнациональных задач; стоило это чудовищных жертв и, как правило, плохо кончалось. Но, наверное, было неизбежно. Последняя такая попытка — германский миф об «юберманшах». Да и мы, русские, весь XX век прокладывали дорогу не меньше, чем всему человечеству. Американцы и по сей день стараются, и не вполне ясно, чем это кончится и для них, для всего человечества. Теперь, кажется, и арабы присматриваются к этой роли (З. Балаян подсчитал, что по количеству беженцев и переселенцев арабы сегодня претендуют на мировое первенство, только непонятно, кем они окажутся: триумфаторами или жертвами в очередном всемирном спектакле. Остается только предположить, что участие в нем на роду написано потомкам Измаила, как и потомкам Исаака — героям тысячелетнего спектакля Мировой Истории, просто достались им разные роли).

Так же досталась своя роль и армянам.

Три народа на исходе только что пережитого нами тысячелетия оказались в роли чистых страдальцев: цыгане, евреи и армяне. Приговорены к гибели были они все. Цыгане, намотавшие родину на колеса своих телег и душу излившие в рыдающих плясовых мелоди-

ях. Евреи, шестью миллионами жизней оплатившие очередной мировой передел и возродившие самоощущение нации вопреки кошмару Бабьего Яра и газовых камер «нового порядка» в Европе.

Армяне, присоединившие кровь ливанской резни, потом сумгаитской резни — к крови резни турецкой... Можно взирать с гордостью на «двенадцатую столицу» (а из окна гостиницы взирать с тоской на библейскую гору). Но невозможно забыть о той страшной роли, которой наградил тебя в Мировой Истории Всевышний (если он есть, конечно).

И это — главная мысль балаяновской «Дороги» — подспудная, кровоточащая, неотступная. Что в армянском характере есть ответ этой неуходящей боли? Что *должно* быть ответом?

Разумеется, при ответе на подобный вопрос Балаян просит учитывать его субъективные склонности. Например, предприимчивость не вызывает у него симпатии, и, кажется, он не ищет у армян этой «божьей искры» (хотя, я думаю, эта искра у них есть). Куда существенней искра воинственности... Речь не о воинских качествах в неотвратимых битвах («более 700 тысяч армян воевали против фашизма и более 300 тысяч их них пали на полях сражений»), — речь о глубинной грани между воинственностью и миролюбием в народном характере, как он выработан тысячелетней историей.

Есть разница между солдатом, идущим в атаку и видящим врага в лицо, и солдатом, нажимающим ядерную кнопку, после чего на другом конце Земли взлетает в воздух неприятельский город.

Воздух, которым дышат армяне, — это воздух строительства, а не разрушения.

*«Уильям Сароян говорил, что такой народ, как наш, никто никогда не победит, потому что он, где бы ни находился, строит дом, строит школу...»*

Контрдовод: а если в школе начнутся споры о том, как понимать справедливость, и никто никого не захочет слушать!

И все-таки:

*«Армяне — вечные беженцы, устали от бесконечных тяжелых дорог, но никогда не устанут строить дома и школы...»*

Но и в домах идут те же споры о выборе дорог!

И все-таки:

*«...Армяне сохранились на этой земле, на перекрестке караванных путей, кроме всего прочего, еще и потому, что строили храмы, которые пытались хоть как-то объединить народ. Хотя, конечно, вернее было бы иметь рядом с орудием труда каменотеса и оружие защитника родины, а рядом с плугом — винтовку».*

И все-таки:

Лишившись на родине крова, школ, церквей, строили на чужбине дома, школы, церкви...

Но ведь и воевали?

*«Дед мой, потерявший трех сыновей на войне, построил памятник-родник в Карабахе и на гранитном обелиске высек слова: «Солдат, который не хочет признать себя побежденным, всегда прав».*

Дед-то, кажется, ближе всех к нравственному идеалу:

*«Дед мой не был предприимчивым человеком. Тихий, скромный, с какой-то тоже тихой и очень человеческой философией. Трудился от зари до зари. Плотничал, пахал, ковал, тесал камень, сажал деревья. Воспитал трех сыновей и двух дочерей. Все трое сыновей погибли на фронте. А он продолжал сажать деревья. От горя сгорбился. Стал еще более молчаливым, но продолжал работать от зари до зари...»*

Старушка, ожидая писем от воюющих на фронте сыновей, — встречает почтальона древним присловьем. Так издревле говорят армяне: и те, что живут в Степанакерте, и те, что в Провиденсе, — ожидая доброй вести и встречая доброго вестника:

— *Свет твоим глазам!*

## 2. «Возьму себе твою боль»

И все-таки есть разные ситуации, разные состояния и разные пути сопротивления личности. Одно дело рассказывать в американском Провиденсе о счастливой жизни Советской Армении в составе Советского государства и другое дело — родиться в Степанакерте, в этой самой Советской Армении, найти жизненную дорогу в огромном государстве, истекавшем кровью, когда смертельная опасность германского нашествия вывернулась смертельной опасностью со стороны собственной, безжалостной отечественной диктатуры.

Зорий Балаян написал о своей судьбе книги, из которых последняя называется «Без права на смерть», а до нее были не менее красноречиво озаглавленные: «Между адом и раем», «Сердце не камень», «Бездна», «Очаг», «Противостояние». Уже названия говорят о характере повествователя: о крае бездны, до которого доходит по дороге жизни странник, о том, чего ему стоит возвращение к очагу, о том, какая каменная защита нужна сердцу при таком противостоянии.

Я возвращаюсь к характеру автора. Этого требует дорога, проложенная им уже не в заокеанских даях, а в родной близи.

Характер — цельный и сильный. Такова и репутация писателя, образ его в памяти людей, чуть не полвека читающих его тексты.

И все-таки в этой итоговой, долго и трудно писавшейся книге автор входит в такие мучительные ситуации, где силовые линии бы-

тия не сцепляются по-доброму, а скрещиваются намертво, и возникает неожиданное для такого сильного человека пронзительное, пронизывающее душу ощущение несводимости концов...

Возвращаясь к этому характеру, я начну с физической формы рассказчика, потому что так мне легче подступиться к более сложным материям.

Перед нами человек со стальными мускулами. Гиревик. Штангист. Мастер спорта.

И он же — в расцвете сил падает с разрывающимся сердцем, так что врачам приходится вытаскивать его с того света.

Так что тут реальность: стальная выносливость или нежная ранимость?

А я раскрою контекст, в котором они сцепляются: сила и слабость.

Контекст силы. Чемпион Нагорно-Карабахской области по двухпудовым гилям, чемпион по штанге среди курсантов военноморских учебных заведений, чемпион Балтийского Флота по тяжелой атлетике. Автор рекордов Андижанской области Узбекистана в жиме, рывке, толчке и в сумме троеборья (335 кг), «о чем из печати знал весь Андижан». А мы узнаем из его книги.

Наивный читатель может заподозрить тут элементарное честолюбие. Но тут другое — неотступное желание вписать свои достижения в общественное бытие, найти свое место в социуме, хоть гирей, хоть штангой внести в этот мир личный вклад.

Контекст слабости. После того как землетрясение 1988 года обрушило Спитак, американцы приняли на лечение покалеченных армянских детей; в их отправке за рубеж участвовал и Балаян. Через три месяца он встречал этих детей в аэропорту уже подлеченными: дети шли на костылях и с палками, но были на своих ногах — и они улыбались! Бросившись обнимать и целовать их, он почувствовал ком в горле... пожар в груди... «Нельзя же умереть от счастья», — успел подумать...

Умереть не дали американские хирурги: успели положить на операционный стол.

И сила, и слабость берут начало в общественной ситуации. Они сталкиваются, высекая искры. Наверное, это особенность сознания, которое не то, что натывается на взлетающие и падающие, жалающие и потрясающие ситуации «на миру», — а прямо-таки ищет такие ситуации, то и дело рискуя попасть в капкан неразрешимости.

Это — лейтмотив судьбы, если осмысливать эту судьбу уже не в контексте океанских перелетов и безукоризненно надежных мостов, а в переплетении родных осин, между которыми не вдруг пройдешь.

Интересно, знали ли участники того судьбоносного съезда Народных депутатов СССР, в работе которого принял участие и Зорий

Балаян, — что в памяти людей их работа намертво свяжется с распадом страны? Их ли действия повели к распаду, или повело что-то еще, следствием чего был сам распад, — это вопрос, так сказать, за-пределный. Но в пределах интеллекта тех людей, которые пробились тогда в депутаты, — они ведь «мозг нации»! — было хотя бы предчувствие? Предвидеть то, к чему ведут их действия, они могли? Или это опять все тот же фатальный узел сцепившихся тенденций, из которого неспособны вырваться умы, увлекаемые ходом событий... бегом событий... скачкой событий... кувырком событий?

*«Я абсолютно уверен: ни Сахаров, ни Солженицын... не хотели распада СССР... И не уверен, что большинство населения великой державы... желало развала великой державы...»*

Кто ответит за то, что получилось?

За ответом надо обращаться то ли в небеса, вряд ли доступные крику, то ли во времена, едва доступные памяти?

*«Мы после XX съезда КПСС наивно полагали, что достаточно, подобно пророку Моисею, сорок лет водить народ по пустыням переходного периода, чтобы все, как один, выжали из себя раба, как воду из губки.»*

Сорок лет еще не прошло с той памятной сессии Верховного Совета?

А если на сорок лет сдвинуться назад, в эпоху нашего отрочества, и попробовать определиться насчет воды и губки?

*«Как-то раз наш директор Амазасп Вартанович освободил меня от последнего урока и отправил домой, ничего не объясняя. Позже я узнал, что после уроков наш класс принимали в пионеры, и из газеты «Советакан Карабах» пришел фотограф, который снимал детей, завязывающих пионерские галстуки. На следующее утро меня у дверей встретил старший пионервожатый и потащил в кабинет директора. В присутствии Амазаспа Вартановича старший пионервожатый завязал мне галстук.»*

Это что? Театр абсурда? Этих детей, завязывая галстуки, в «рабство» определяют? Тогда почему юного Зорика избавляют от этой фатальной процедуры?

*«Уже после того, как Амазаспа Вартановича арестовали и сослали в Алтайский край, наша легендарная учительница математики Софья Амбарцумовна рассказывала мне, что некоторое время детей «врагов народа» не принимали в пионеры и в комсомол в торжественной обстановке. Этот перегиб, как говорили, длился недолго.»*

А если все-таки попытаться разогнуть этот перегиб к логике? Есть хоть какое-то объяснение абсурда, который откладывается в душе пионера: в торжественной обстановке («явной») принять нельзя, а в неторжественной («тайной») можно?



Есть у меня объяснение. *Явно* — нельзя, потому что родители — «враги народа». А *тайно* — можно. И даже нужно. Потому что люди этого *хотят*.

Так где истина? Детей врагов народа надо изолировать? Или не надо? Они — враги? Этот советский абсурд что-нибудь реальное означает?

Означает. Пока война и в стране военное положение, лучше эту систему жути не трогать. Не страгивать. Чтобы не рванула. И все понимают, что это — только *пока война*. Но вот война кончается. А сдвинуться с жути еще страшно. Все уже хотят, но еще боятся. То есть все нормальные люди в окружении десятилетнего Зорика хотят, чтобы он, Зорик, стал пионером. И он хочет. И его принимают. Тайком. Потому что по закону еще опасно. По закону военного времени. Которое отходит, но еще не отошло. Ибо отходит оно... вот именно: *по капле*.

Каким бредом должно запомниться это тайное вдавливание «рабства» в душу юного пионера! Или ему (как и всему нашему поколению) на роду написано выпутываться из узлов абсурда?

*«И я, без отца, без матери, голодный, писал стихи о счастливом детстве в родном Степанакерте, по улицам которого, даже после Великой Победы, конвоировали сотни людей, отправляя их в небытие...»*

Отец сгинул в Гулаге. Мать вслед за ним отсидела в лагере лучшие свои годы. Вернулась. Получила жилье, дождалась реабилитации своей и мужа (мужа — посмертно) и получила по месту его последней работы 3800 рублей («старыми деньгами») — за что же? За его «вынужденный прогул».

Вы слышите?! Это был «вынужденный прогул»! И деньги ей выплатили в том самом кабинете райисполкома, из которого мужа в 1937 году увели навсегда! Надо же придумать такое!

И придумывать не надо. Надо только успевать оглядываться по сторонам, когда тебя ведут получать... то ли срок, то ли деньги за срок.

Не поискать ли в этой череде абсурдов чего-нибудь повкуснее? Можно.

Вот эпизод из студенческого периода, когда сын «врагов народа» учится в Рязани (туда перевели Третий Московский мединститут). Жизнь в студенческом общежитии веселая и беспечная. В том числе и потому, что из Андижана, где все еще остается сосланная туда мама, сыну идут от нее регулярные продовольственные посылки. Так что приятели-студенты интересуются, когда в очередной раз поступят от мамы узбекские дыни.

Приходит от мамы дыня, упаковка с яйцами. Дюжина десятков, или десяток дюжин. Что с ними делать? Хранить такое количество нигде. Решено изжарить яичницу и устроить пир «на всю Гагаринскую» (так называется улица, на которой располагается общежитие).

Изжарили. В ванночке, которую взгромоздили на конфорку. Для пира повыносили из комнат кровати. Сдвинули столы.

*«Водки оказалось просто-таки невиданное количество».*

Как и полагается, в ходе массового застолья никто никого не слушал. Всем было очень хорошо. *«В крови всюду бурлил адреналин».* По ходу бурления некоторые студенты оказались в милиции. Организатора пьянки Зория Балаяна вызвали в ректорат держать ответ.

Погодите. Про ответственность чуть позже. А пока — о самом пиршестве. Все ж надо учесть, что никакого продовольственного благополучия в стране нет, раны, нанесенные войной, еще сказываются, чума еще саднит в памяти — особенно при взгляде на магазинные полки.

И в это скудноватое время в «рязанской периферии» сын «врагов народа» устраивает такой пир! Если это не абсурд (а все это правда), то как такое объяснить?

Объяснение Зорий Балаян дает вполне здравое.

*«Все это происходило на фоне постоянного недоедания, сменявшегося редким и опасным перееданием: то мясо пришлют из деревни, то...»*

Так что яичница из 120 яиц — вовсе не абсурд. Абсурд — другое. Разбирательство у ректора.

Нависает отчисление. Проштрафившийся студент к этому и готовится. Тем более что сын «врагов народа» именно от них, врагов, получил посылку.

И вот что тут выясняется.

Ректор не просто не дал хода этому обстоятельству биографии студента (мог бы из тайного сочувствия закрыть на это глаза), нет, ректор об этом ничего вообще не знал.

Не знал! Ни что отец — жертва культа личности, ни что мать много лет провела в лагерях.

Значит, сын «врагов народа», беспрепятственно окончив школу в родном Арцахе, благополучно поступил в столичный институт (мускулы помогли — мастеров спорта тогда особенно ценили), и получил высшее образование, и...

Так есть ли хоть какая-то логика в этой последовательности абсурдов? Репрессии — были? Или их выдумали сталинские (антисталинские) идеологи и пропагандисты? А если были, — можно все это в конце концов хоть как-то объяснить или так и оставить в миреже массового безумия?

Я подхожу к самой страшной точке в исповеди Зория Балаяна. К теме репрессий. К прозительному повествованию о матери, почти до нового тысячелетия дожившей после «срока» и все силившейся понять, почему все произошло. К истории отца, могилу ко-

того Зорий Балаян искал долго, и архивы гэбэшные пропахал, и землю коми-пермяцкую проутюжил, — и раскопал, и нашел, и восстановил... и описал теперь гибель отца — кровью сердца описал. И попытался объяснить.

Подступаясь к этой теме, я должен кое о чем предупредить читателя.

Уже полвека, начиная с «Одного дня...» Солженицына и «Колымских рассказов» Шаламова, потрясших меня когда-то и врезавшихся в сознание на всю жизнь, по мере того, как копится в литературе летопись репрессий, — постепенно охватывает (меня во всяком случае) ощущение накатывающегося безумия, из которого душа ищет выхода и не находит. Сберегая душу от разрушительного отчаяния, мой жалкий разум воздвигает над этим ужасом хоть какое-то подобие покрова — в попытке объяснить происходящее. Чтобы оно не оставалось бесконечным неменяемым помешательством.

Простите, я пытаюсь найти в этом круговом остервенении хоть какие-то следы объяснимости.

Вот вопрос, который глубже всех других саднит в армянской душе, — отчленение Арцаха, который, как и Нахичевань, стал автономным образованием в соседней республике.

Добавим — и не только Арцаха. Следует здесь, наверное, вот о чем вспомнить. В третьем томе Собрания сочинений Зорий Балаян поместил исследовательский очерк о том, что 1915 год — всего лишь один из тридцати лет непрерывного геноцида армян. Он приводит и даты: 1893—1923 годы. Думая об этом, просто поражаешься тому, как Сталин способствовал «сердечному другу — Турции» (Солженицын). 1921 год. Геноцид армян продолжается. И Сталин, накануне подписания российско-турецкого договора, поручает своему заместителю в наркомате по делам национальностей А. Сачко выступить в ведомственном издании «Жизнь национальностей» с призывом к армянам — во имя торжества революции «пожертвовать и своими бывшими территориями и оставшейся частью своего народа в Турции». И отчленили ведь. В угоду «революционеру, борющемуся против империализма» Ататюрку. Отсекли-таки исторические территории Армении, входившие в состав Российской империи. В том числе Карс, как пишет Балаян, не только с армянскими церковью, кладбищем и школой, но и с русскими церковью, кладбищем и школой.

Отодвигаясь в прошлое на целый век, Зорий Балаян напоминает, что его предки совместно с русскими воинами проливали кровь в девятилетней войне (1804—1813 гг.), чтобы присоединить Карабах и всю Восточную Армению к России.

Все так! Россия эти земли завоевала, отняла у персов. У турок. Но и те их завоевали за четыре века до того, отняли у греков. Так что никакой законности, кроме звериного права силы, отсюда не извлечь. А вот «логика» драки — извлекается! И накрывает эта вечная драка — весь XX век.

Уповали на союз русских с немцами (против «англичанки», которая, как известно, только и делает, что «гадит»), а получается все наоборот: в англо-германском противостоянии, расколовшем Европу, именно британский союзник окажется на нашей стороне, а Германия — дважды! — против нас, и Турция — дважды же — прикнет не к нам, а к немцам — против нас.

Не помог нам Атаюрк. По логике отчаяния в смертельной ситуации мы к нему кинулись. Сталин, пятась от Запада, искал опору на Востоке. Без разницы, где там христиане и где мусульмане. Мусульмане просто оказались поближе все в том же смертельном противостоянии с Западом (почти сплошь христианским). Дико искать у Сталина, по первоначальному воспитанию — православного пастора, — изначальных симпатий к исламу, и никакого *потворства* там не было. А был все тот же расчет.

Оправдался ли он? Не подвело ли Сталина геополитическое чутье, при безусловном чувстве звериной опасности? Именно на мусульман сделал ставку Гитлер, и пришлось Сталину по ходу войны перестраиваться, давить возможное сопротивление, вырывая из северо-кавказских племен мусульманские ветви, так что до сей поры у посланных и вернувшихся тлеет ненависть к тем, кто обрек их на изгнание.

За все, знаете ли, надо расплачиваться. В том числе и за отчаяние при гитлеровском нашествии, когда Россия искала спасения от гибели. Расплатились за наш страх — северо-кавказские мусульмане. С ними мы теперь расплачиваемся за горькие дела наших отцов. За изгнание, которое было и незаконно, и безжалостно, и непоправимо. Но не беспричинно.

Слепа логика смертельной драки. Тут каждый собирает черепки сам. И черепа. Это я про тех армян, которых зверски убили в Сумгаите во время резни — через треть века после того, как пристрелили Берию, и через четверть века после того, как Сталина выкинули из Мавзолея. Вот когда мать Балаяна сказала: *«Имею право думать об убийцах что угодно»*.

Имеет право.

И не только Арцах кровотоцит в судьбе и памяти. Террор сталинских лет свирепствует прежде всего в верхних эшелонах системы. Партия уничтожает единомышленников? Да это как сказать.

О единомыслии кричат все: и палачи, и жертвы. Особенно в моменты, когда они меняются ролями. И все постоянно думают — о заговорах и предательствах. Даже на самом верху. А недаром. Новейшие архивные исследования показывают, что готовность сменить генсека, он же Верховный главнокомандующий, доходила в некоторые моменты до 70 процентов состава тех самых высших чинов госбезопасности, рвением которых осуществлялся террор. Разумеется, поймать с поличным кого-то из этих головорезов не представлялось возможным — у них так работало чутье. Но чутье и главному головорезу диктовало постоянные чистки на всех уровнях, включая вышние. По чутью на кровь он был чемпион.

А если бы его все-таки схарчили хоть в 1927, хоть в 1937 годах? Кого бы стерпели на его месте? Троцкого? Тухачевского? Так бы тот же самый террор, хотя и с другой очередью расстрельных списков. Но с той же сверхзадачей: выстроить все так, чтобы смерти тут, от «своих», боялись больше, чем там, от чужих, «за Вислой сонной». Чтобы штрафбат казался справедливым приговором. И чтобы готовность к штрафбату пронизала народ сверху донизу.

Донизу — ибо внизу его настоящая почва. Разумеется, когда Совнарком (или ГУЛАГ) разверстывают свои потребности, и разнарядки на аресты спускаются до областей и ниже, чтобы обеспечить лагерные стройки притоком рабсилы, то система кажется апофеозом подлости и лжи. Но когда снизу поднимаются встречные планы арестов, «перевыполняющие» верхнюю разнарядку, — это уже апофеоз правды, более страшной, чем любая ложь (про коммунизм, капиталистическое окружение, ленинское наследие и проч.). Тут-то и работает пронизавшее всю толщу народа чувство обреченности на мобилизацию и готовности к жертве и к гибели, из которых выпрыгнуть можно только перенося законы ГУЛАГа на все уровни — от барака до Кремля. Иначе в XX веке не воевали. Только всем народом. Без разделения на вооруженные силы и мирное население. Мирного населения больше не было.

Поэтому самый главный изверг, которого боялись все, сам боялся больше всех. До самой смерти боялся: ждал удара от охраны, заговора от соратников, бунта от населения. Этим страхом объясняется и то, что в 1947 году он терзался страхами 1927 и 1937-го, — а чего ему еще ждать, если отсидевшие выйдут на свободу?..

Опробовав «большой счет» таких умозаключений, надо набраться решимости и... *назвать убийцу убийцей.*

Или так: назвав убийцу убийцей, набраться решимости и задать себе все тот же проклятый вопрос: а как все это оказалось возможно?

Что — «все это»?

Всеобщее остервенение, толкнувшее в самоубийственную драку великие народы, самые культурные нации земного мира. Ведь не только в гитлеровской системе царила поголовная готовность к насилию — война-то была мировая. Да такая, что на весь век осталось ощущение, будто мира вообще не бывает, и не будет...

*«Войны нет... и мира нет тоже... И правды по-настоящему нет».*

Уйдут ветераны, их внуки и правнуки постепенно забудут доводы сторон. Выветрятся причины, истлеют доказательства той или этой «правды». Что останется? Что осталось от Троянской войны? Прелести Елены Прекрасной? А от двух мировых войн? Что оставит человечеству в качестве «правды» этот наш проклятый век? Ощущение неизбежной вселенской беды? Когда забудутся конкретные причины, что останется? Смутное ощущение провала истории в какой-то необъяснимый ужас. Для нового слепого Гомера.

*«История — это не всё», — цитирует Балаян Альбера Камю (который цитирует древних историков).*

А что — всё? Что делает историю такой, какова она есть? Вы хоть что-нибудь вспомните? Что толкало к вражде троянцев с ахейцами? Спартанцев с афинянами? Греков с персами? Земли было мало? Да кто и вспомнил бы, какой кому земли не хватало, если бы Гомер не увековечил кровавые тяжбы в их слепой картинности? А история происходит — на земле. Чингизхану для пастбищ травы не хватает. Гитлеру без Волги жизненного пространства не хватает. Человечеству — чего не хватает, когда обнаруживается в его природе маловменяемое зверское начало? Так, может, и отвести животному инстинкту главное место в цепочке причин, окровавивших проклятый век? А чего ждать в будущем? Того же самого? А кому жаловаться, если жаловаться надо на себя самих? К небесам вознести молитвы и ждать ответа о причинах вечной вселенской беды?

Не будет с небес ответа. Потому что от разума, а не от души это отчаяние.

*«Тот, кто желает видеть живого Бога, пусть ищет его не на пустом небосводе собственного разума, а в человеческой любви».*

О любви тоскует «поколение несмышленишей», к каковому относит себя Зорий Балаян. Поколение обманутых и обреченных, каковым он его видит. Поколение свихнувшихся на веревке в разум, поверивших во всемирное улучшение человечества, добавил бы я. Ибо я имею честь принадлежать к этому же поколению «последних идеалистов», — это наш разум был отштампован верой в коммунизм, это наша душа разорвалась от крушения химеры разума.

История с ее кровью — конечно же «не всё». Но и всё, что обнаруживается в подпочве истории, тоже не всё. И подпочва — не всё. И вообще «всё» — это не всё.

Так затягивается чертова бездна туманом самогипноза, напускаемого разумом на непостижимое бытие-небытие.

А потом какая-нибудь деталь бьет в тебя из этого тумана, молнией прожигает в момент казни... и палач оживает в памяти именно как палач, и жертва еще раз умирает как жертва, и корчится душа, ослепленная разумом наедине с вопросом:

— А все-таки — почему?

Почему хватают и тащат энкавэдэшники тридцатитрехлетнего коммунистического выдвиженца Гайка Балаяна, наркома просвещения Нагорно-Карабахской Республики, и «черным вороном» отправляют в небытие? Это ж не рядовой наробразовец и не малоизвестный советской работник (перед арестом его перекинули руководить райисполкомом, но, кажется, именно затем, что с той должности проще было забрать). Но все-таки: за что? Ни оппонентом режима он не являлся, ни рядовым обывателем, это именно тот молодой строитель нового общества, каковыми оно и держится. А сам он, внук священника, сменивший веру в Бога на марксистское безбожие, он-то понимал, что строит? В партию вступил — не вслепую же! И в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока имени товарища Сталина поехал не вслепую, а был выдвинут и отобран, потому что искренне принял советские идеалы. И окончил университет с блеском, и потому стал наркомом (министром, — уточняет Зорий Балаян для нынешних непосвященных).

Так он осознанно строил то государство, которое его угробило? Он понимал, *что* строит? Или этот вопрос только повторяет ту абсурдизацию бытия на всех уровнях, которая охватывает людей в проклятые эпохи?

Жена его, на пятнадцать лет моложе, юная выпускница сельской школы, имела куда больше прав «не понимать». Боготворила мужа — за интеллект, за энергию, за убежденность. Ей, может, еще горше было — оставаться женой «врага народа», с двумя младенцами на руках, одному чуть более года, другому чуть более двух... и этот-то, старший, всю жизнь положил, чтобы понять произошедшее и найти могилу отца.

Нашел?

Нет. Не нашел. Хотя исколесил Сибирь и Север, отыскивая след отца в мерзлых концах ГУЛАГа. Не нашел могилы. Однако судьбу «врага народа» проследил. До последнего смертного часа. И знаете, как кончил дни его отец? Нет, не в шахтном отвале, засыпанный

породой, не в лесоповальной чаше, прибитый стволом, не при разводе, где за шаг в сторону стреляют без предупреждения, и не в расстрельном подвале по приговору торопливой «тройки».

Умер Гайк Балаян в лагерной больнице под ножом хирурга, который пытался спасти ему жизнь.

Это что? Смесь помраченной законности и противозаконного просветления? Или очередной абсурд: система пытается спасти того, кого она же обрекла на гибель? Это вообще можно ли свести к какой-нибудь логике? И как быть, если, выйдя живым, пытаешься понять, почему все это возможно?

Кто кому должен это объяснить? Мать — сыну? Сын — матери?

Мать, десять лет отрубив в лагерях и ссылке, — доживает не только до XX съезда партии, снявшего с нее клеймо, не только до XXII съезда, вынесшего Сталина из мавзолея, — она доживает до времени, когда саму Советскую власть выносят из страны ногами вперед (между прочим, усилиями все того же Верховного Совета). Что мать ответит сыну, когда тот никак не решит: то ли попытаться у матери ответов на проклятые вопросы, то ли замкнуть уста, чтобы не добивать вопросами ее душу?

Мать размыкает уста и роняет два слова: *цавыт танем* — как до нее поколения исстрадавшихся армянских женщин:

— *Возьму себе твою боль.*

\* \* \*

В радости и в боли ищет человек: очам — света, душе — спасения.  
Пока ищет — непобедим.

*Лев АННИНСКИЙ*